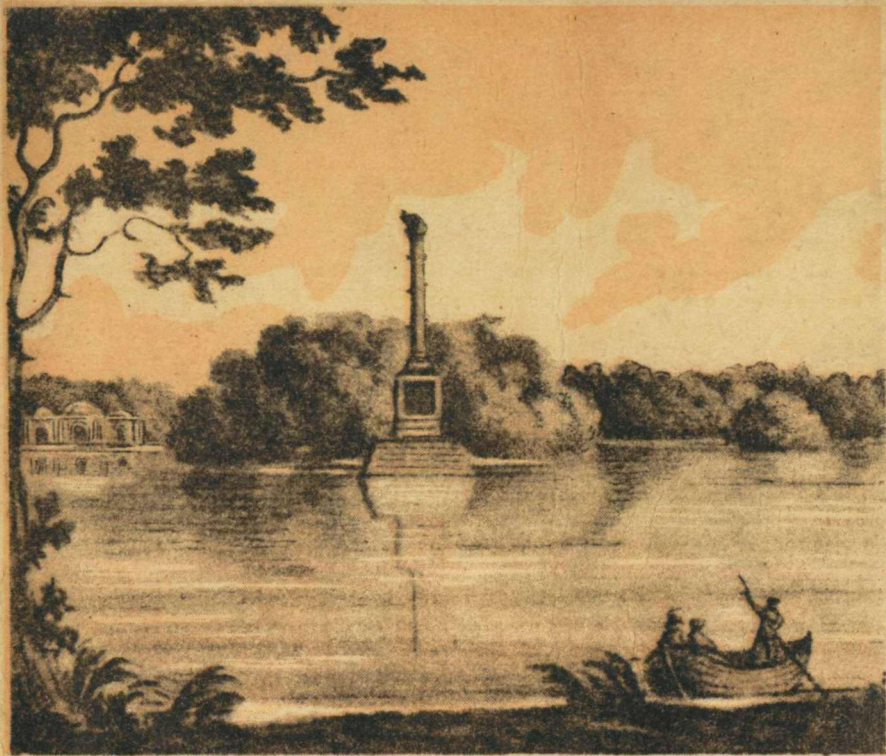
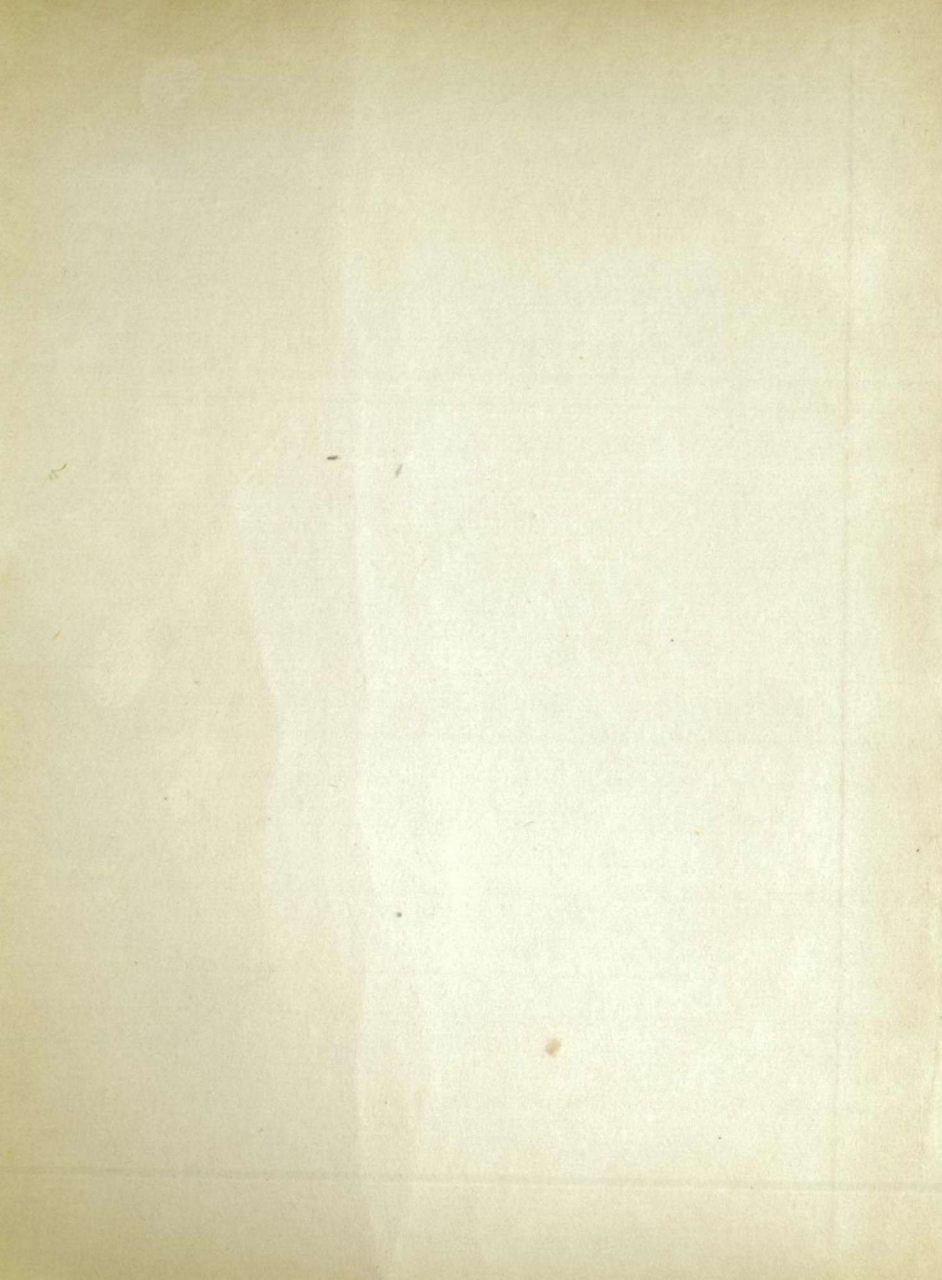


БИБЛИОТЕЧКА ШКОЛЬНИКА



И. И. ПУШКИН  
ЗАПИСКИ  
О ПУШКИНЕ

ДЕТГИЗ 1947











БИБЛИОТЕЧКА ШКОЛЬНИКА



П 917

И. И. ПУЩИН

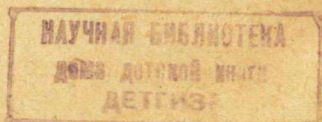
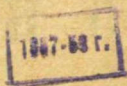
# ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1947 Ленинград

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой  
книге присылать по адресу: Москва,  
М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.

10577





## ПУЩИН И ЕГО ЗАПИСКИ

Автор «Записок о Пушкине» И. И. Пущин — ближайший лицейский товарищ Пушкина. Он вырос вместе с Пушкиным, хорошо его знал и сердечно любил.

Пущин не справлялся ни с какими документами и источниками, когда писал свои записки. Он просто изложил на бумаге то, что удержалось в сердечной памяти, и поэтому записки его вышли живыми и правдивыми.

В «Записках» Пущина мы черпаем такие сведения, каких не найдем ни в каких других источниках: в них подробно описывается Лицей и весь его уклад, рассказывается о встречах с Пушкиным в Петербурге, картинно изображается его образ жизни в Михайловском.

У Пушкина было много друзей, но из всех дружеских связей Пушкина самыми глубокими и прочными были те, которые образовались еще в отроческие годы в стенах Царскосельского лицея. Лучшими друзьями Пушкина были двое его лицейских товарищей: Дельвиг и Пущин.

С Дельвигом Пушкина объединяли общие литературные интересы: Пушкин высоко ценил поэтическое



чутье Дельвига, а Дельвиг с восхищением следил за расцветом гения Пушкина. Никто так тонко, как он, не понимал всю прелесть пушкинской поэзии.

Другого рода отношения были у Пушкина с Иваном Пущиным — «Жанно», как его звали в Лицее. Пущин не был поэт, как Дельвиг. Это был прирожденный общественный деятель. Будущий декабрист сказывался в нем с ранних лет. Благородный, прямой, открытый характер Пущина, его твердые моральные правила внушали Пушкину чувство особого к нему уважения. Их дружба отличалась какой-то необыкновенной сердечной серьезностью. В стихах Пушкина, посвященных Пущину, всегда слышатся глубокие сердечные ноты. Когда только заходит речь о Пущине, у Пушкина словно меняется голос. Так в «Пирующих студентах» (1815):

Товарищ милый, друг прямой,  
Тряхнем рукою руку!

И такой же душевный, ласковый тон в стихах, посланных Пущину в Сибирь (1826):

Мой первый друг, мой друг бесценный...

Иван Иванович Пущин был на год старше Пушкина (он родился 4 мая 1798 года, а Пушкин — 26 мая 1799 года). Отличительной чертой Пущина, как указывали и лицейские воспитатели, была «рассудительность», составлявшая противоположность горячему, порывистому характеру Пушкина. В отчете о поведении воспитанников за 1812 год о Пущине говорилось: «С весьма хорошими дарованиями, всегда прилежен и ведет себя благоразумно; благородство, воспитанность, добродушие и скромность, чувствительность с мужеством и тонким (то есть разумным) честолюбием, осо-

бенно же рассудительность суть отличительные свойства; в обращении приятен, вежлив и искренен, но с приличной разборчивостью и осторожностью». По успехам Пущин всегда был одним из первых. Если о Пушкине преподаватели говорили, что его успехи «более блистательны, чем тверды», то о Пущине они отзывались в обратном смысле: что «превосходные успехи» его «более тверды, чем блистательны». Все это давало Пущину некоторое преимущество в дружбе с Пушкиным. Он часто, особенно в лицейские годы, выступал в роли советчика и утешителя при разных огорчениях, какие случались у его младшего товарища.

Не обходилось, впрочем, без ссор между друзьями. Но это были, по слову Пушкина, «размолвки дружества», которые давали только лучше чувствовать «сладость примирения» («В альбом Пущину», 1817). Об этом упоминается и в «Пирующих студентах»:

Нередко и бранимся,  
Но чашу дружества нальем  
И тотчас помиримся.

Взаимная привязанность не нарушалась несходством их характеров и взглядов. «Мы с ним постоянно были в дружбе, — говорит по этому поводу Пущин, — хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонизировать и оставались в постоянном согласии».

По окончании Лицея, в 1817 году, Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел, а Пущин — на военную службу, в гвардейскую конную артиллерию. Тогда же Пущин вошел и в тайное общество. Это заставило его строже взглянуть на себя. Он как будто вырос в своих собственных глазах. Между тем Пушкин после шести



лет лицейского затворничества предался удовольствиям и развлечениям столичной жизни. Казалось, что он совершенно забросил серьезные занятия. Никто, однако, не замечал той огромной умственной и творческой работы, которая шла в нем в это время. Не замечал этого и Пущин. Строгий к самому себе, он так же строго судил и своего друга. По старой лицейской привычке, он читал ему наставления; например, выговаривал за то, что он будто бы «вертится» среди знати. Пушкин не оправдывался, не спорил, потому что видел, что Пущина не переубедишь, он только старался шутками и шалостями замять разговор и развеселить своего слишком прямолинейного в своих суждениях друга. Впоследствии и сам Пущин признавал, что был чрезмерно придирчив. «Видно, нужна была и эта разработка, — пишет он, — коловшая нам, слепым, глаза». Пушкин не сердился на Пущина за его упреки, а Пущин при всей своей требовательности с невольным снисхождением относился к тому, что, с его точки зрения, представлялось недостатками Пушкина. «Чтобы полюбить его настоящим образом, — говорит он, — нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище».

Участие Пущина в тайном обществе положило между ним и Пушкиным некоторую преграду, мешавшую полной откровенности. Пушкин замечал скрытность своего друга и, повидимому, догадывался, в чем дело. Пущин, со своей стороны, зная образ мыслей Пушкина, несколько раз думал о том, чтобы открыться ему и ввести его в тайное общество. Но пылкий характер молодого поэта пугал осторожного и рассудительного Пущина. Пущин принадлежал к умеренному крылу



декабристов, которое ставило своей задачей исключительно «медленное действие на мнения» (как говорилось в уставе «Союза Благоденствия»). От Пушкина же в эту пору меньше всего можно было ожидать сдержанности и благоразумия. В этом, надо думать, и была главная причина, почему Пущин оставил мысль о принятии Пушкина в общество.

Весной 1820 года Пушкин был выслан за вольнолюбивые стихи на юг, и друзья расстались надолго. Они свиделись только в 1825 году, в январе, когда Пущин навестил Пушкина в новом месте его ссылки — в Михайловском. В стихотворении «19 октября» (1825) Пушкин с чувством вспоминает об этом посещении:

...Поэта дом опальный,  
О Пущин мой, ты первый посетил;  
Ты усладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его Лицея превратил.

Многое изменилось в положении обоих друзей за пять лет разлуки. Пушкин был уже знаменитый поэт. В тиши Михайловского вполне созрел его гений. Он работал здесь над «Борисом Годуновым», изучал историю. Под влиянием изучения истории взгляд его на русское революционное движение сделался глубже и серьезнее. Перед ним вставал вопрос о роли народной массы в революции, о значении «мнения народного» — вопрос, который обходило большинство декабристов.

Пущин же в это время успел преобразиться из блестящего гвардейского офицера в скромного надворного судью. В 1823 году он бросил военную службу и, по примеру поэта-декабриста Рылеева, служившего в суде, занял судейское место в уголовной палате — сначала в Петербурге, а потом в Москве. Это был гражданский

подвиг, так как в высшем кругу на судейских чиновников смотрели с презрением. Большинство из них были люди неродовитые, бедные, малообразованные, жившие взятками. А Пущин принадлежал к знатной дворянской фамилии. Его дед был адмирал екатерининских времен, отец — генерал-лейтенант. Своим поступком Пущин бросал вызов предрассудкам своей среды, а для этого нужна была большая решимость. Он хотел показать на деле, что истинный гражданин во имя общего блага не должен пренебрегать мелкими должностями. Задачей его было облагородить судейское ведомство, искоренить взятки, защитить простой народ от притеснений и злоупотреблений. Своему лицейскому товарищу Вольховскому он писал вскоре после своего вступления в должность: «Трудов бездна, я им (подчиненным) толкую о святости наших обязанностей и стараюсь собственным примером возбудить в них охоту и усердие». Пушкин гордился подвигом своего друга. В черновом наброске стихотворения «19 октября» (1825) он посвятил ему следующие строки:

И все прошло — проказы, заблужденья.  
Ты, освятив тобою избранный сан,  
Ему в очах общественного мненья  
Завоевал почтение граждан.

Теперь, в Михайловском, Пущин больше не скрывал существования тайного общества и прямо сообщил об этом Пушкину, который в своем положении поднадзорного все равно не мог бы принять в нем участие.

Пушкин на этот раз ни о чем не расспрашивал, ни на чем не настаивал. Он молча выслушал наставительную речь Пущина, который доказывал, что он «напрасно мечтает о политическом своем значении» и что ему следует довольствоваться своей литературной славой.



Любя и уважая своего друга, Пушкин не хотел портить радость свидания возражениями и спорами. Однако Пущин, вероятно, посвятил Пушкина в планы тайного общества и осведомил его о предстоящем вооруженном восстании, которое намечалось на лето 1826 года. Этим, может быть, объясняется предсказание Пушкина в стихотворении «19 октября»:

Промчится год, и я явлюся к вам!

Свидание в Михайловском было последним. Наступило 14 декабря. Пущин был арестован и заключен в крепость. Перед судом он держал себя со свойственными ему достоинством и мужеством — никого не выдавал, не старался выгородить себя. Он был причислен к первому разряду виновных и первоначально был приговорен к смертной казни, которая была заменена ссылкой в каторжные работы в Сибирь на двадцать лет.

Судьба декабристов тяжело поразила Пушкина. «Повешенные повешены, — писал он, — но каторга 120 братьев, товарищей, друзей ужасна». Особенно волновала его участь лицейских друзей — Пущина и Кюхельбекера. Пущин и Кюхельбекер составляли ту сердечную нить, которая связывала Пушкина с декабристами. Он не забывал о них до последних дней своей жизни и вспоминал своего друга детства Пущина на смертном одре. В 1827 году он послал Пущину в Сибирь трогательные стихи, полные нежности и грусти, и в том же году в стихах на лицейскую годовщину 19 октября обратился к нему и Кюхельбекеру, томившимся «в мрачных пропастях земли», с бодрящим призывом: «Бог помощь».

Родной голос друга, доходивший изредка в Сибирь, был огромной отрадой для Пущина, и когда этот голос замолк навсегда, это было для него тяжелым горем.



Весть о смерти Пушкина в 1837 году потрясла его. Он писал потом лицеисту Малиновскому: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история, роковая пуля встретила бы мою грудь — я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России».

В 1839 году, после двенадцати лет каторги, Пущин был выпущен на поселение. Он жил сначала в Туринске, потом в Ялutorовске. Годы не изменили его. По-прежнему он был предан интересам родины и общего блага. Из своей сибирской дали он внимательно следил за событиями литературной, общественной и политической жизни. Его волновали русские неудачи во время севастопольской войны 1854—1855 годов. «Неотрадные вести ты мне сообщашь о нашей новой современности, — пишет он брату в 1855 году, — и только одна вера в Россию может поспорить с теперешнею тяжелою думой». Причину неудач он видел в деспотическом режиме. «Пока дело общее (res publica) будет достоянием немногих, — говорит он в другом письме, — до тех пор ничего не будет. Доказательство — нынешние обстоятельства».

В 1856 году, после смерти Николая I, декабристы получили наконец свободу. Пущин вернулся в Россию и поселился в селе Марьине, под Москвой, в имении вдовы декабриста Фонвизина, на которой в 1857 году женился.

Он скончался в апреле 1859 года. Незадолго до того он записал, по просьбе Е. И. Якушкина (сына декабриста), свои воспоминания о Пушкине. Они были его предсмертной данью памяти его друга, великого русского поэта.

*Ал. Слонимский*

---

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому. Старик, с лишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных, по его же просьбе, в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России — не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в Афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками<sup>1</sup>. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам граф Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что Университет; не то, что Кадетский корпус, не Гимназия, не

---

<sup>1</sup> Лицей (Ликей) — место около Афин, где юноши обучались гимнастике, искусствам и философии.



Семинария — это... Лицей!» — Поклонился, повернул лошадь и ускорился.

Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частию тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру<sup>1</sup> не приходится ждать; что ему нужен Алексей Кириллович<sup>2</sup>, а не туалет его. Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина<sup>3</sup>, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: Александр Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом

---

<sup>1</sup> П. И. Пущин имел орден апостола Андрея Первозванного.

<sup>2</sup> Разумовский.

<sup>3</sup> Брат матери Пущина.



передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню, кто, только чуть ли не Василий Львович Пушкин<sup>1</sup>, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали вызывать нас поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда оставалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее. Таким образом я сделался товарищем Пушкина. О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего, Василия Федоровича Малиновского, куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная

---

<sup>1</sup> Дядя Пушкина, известный поэт.

на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы не даром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видеть, Василий Львович бывало мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня.

Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым — признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие, — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось, точно, удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острове, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.





А. С. Пушкин.

*С гравюры Е. Гейтмана.*

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я поплакал, расставаясь с домашними; сестры успокаивали меня тем, что будут навещать по праздникам, а на Рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеем. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная досочка с надписью: № 13 *Иван Пушкин*; я взглянул налево и увидел: № 14 *Александр Пушкин*. Очень был рад такому соседу, но его еще не было, дверь была заперта. Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие новобранцы. Мелкого нашего народу с каждым днем прибывало. Мы познакомились поближе друг с другом, познакомились с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого, и таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все тридцать воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной форме, то есть вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.



Настало наконец 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

4501  
В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры; по левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, великого князя Константина Павловича и великой княгини Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента министерства народного просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Я не знаю, есть ли и теперь другое, на

этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее, при императоре Николае, разрешено наказывать с родительскою нежностью лозою смирения.)

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский, со свертком в руке. Бледный, как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения!

В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе; это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру.



Куницын вполне оправдал внимание царя: он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...<sup>1</sup>

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императрицу осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Мария Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила его: «Карош суп?» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur»<sup>2</sup>. Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, — только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов соникá<sup>3</sup> же попал на зубок; долго пре-

---

<sup>1</sup> Пушкин, Годовщина 19-го октября 1825-го года. (И. П.)

<sup>2</sup> Да, сударь.

<sup>3</sup> Сразу.

следовала его кличка Monsieur. Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем; она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово. Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной...  
*и проч.*

Пока мы обедали — и цари удалились и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал. Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он как душа неразделим и вечен —  
Неколебим, свободен и беспечен  
Срастался он под сенью дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,  
Отечество нам Царское Село!<sup>1</sup>

Дельвиг в прощальной песне 1817 года за нас всех вспоминает этот день:

Тебе, наш царь, благодаренье!  
Ты сам нас, юных, съединил  
И в сем святом уединенье  
На службу музам посвятил!

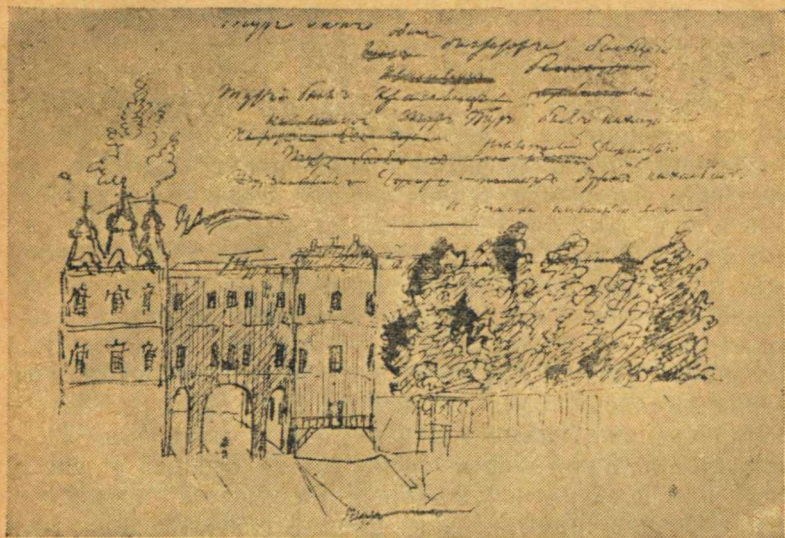
Вечером нас угощали десертом à discrétion<sup>2</sup> вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора.

---

<sup>1</sup> Пушкин, Годовщина 19-го октября 1825-го года. (И. П.)

<sup>2</sup> Сколько угодно.





Вид Лицея.

Рисунок А. С. Пушкина.

Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приезжали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущением этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в Дерптский журнал. Этот почтенный человек не

предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжение трех первых выпусков.

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы. Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслью Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами, плебеями.



Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны; из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещались хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее; во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала<sup>1</sup>, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом через хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары<sup>2</sup>. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты, всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате — железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной.

На конторке — чернильница и подсвечник со щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах — паркетные полы.

В зале — зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам нетрудно было при-

---

<sup>1</sup> Зала для отдыха после занятий.

<sup>2</sup> Спальни.

выкнута к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди.

От 7 до 9 часов — класс. В 9 — чай; прогулка — до 10.

От 10 до 12 — класс.

От 12 до часу — прогулка.

В час — обед.

От 2 до 3 — или чистописание, или рисование.

От 3 до 5 — класс.

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом — повторение уроков или вспомогательный класс.

По средам и субботам — танцование или фехтование.

Каждую субботу баня.

В половине 9-го часа — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов — рекреация<sup>1</sup>.

В 10 — вечерняя молитва, сон.

В коридоре на ночь ставили ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета, — это бы ничего; но зато по праздникам — мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма, отпечаток того времени, посте-

---

<sup>1</sup> Отдых.



пенно уничтожалась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами только, когда учились фронту в гвардейском образцовом батальоне.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншею; в наше время была m-те Скалон. У каждого была своя печатная метка: номер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а столовое и на постели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву<sup>1</sup> в бакенбарды. При утреннем чае — крупчатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой по понедельникам выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистою водою.

При нас было несколько дядек: они заведовали чистой платьем, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский, сделавшийся нашим домашним restaurant. У него явился уголок, где можно было найти конфеты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом вместо казенного чая ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей.

---

<sup>1</sup> Лицейский эконоом.

Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской; приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усаые гренaдeры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!

Сыны Бородинa, о кульмские герои!  
Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой торжественной за братьями летел...

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции<sup>1</sup>; Кошанский<sup>2</sup> читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов: читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас; опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное.

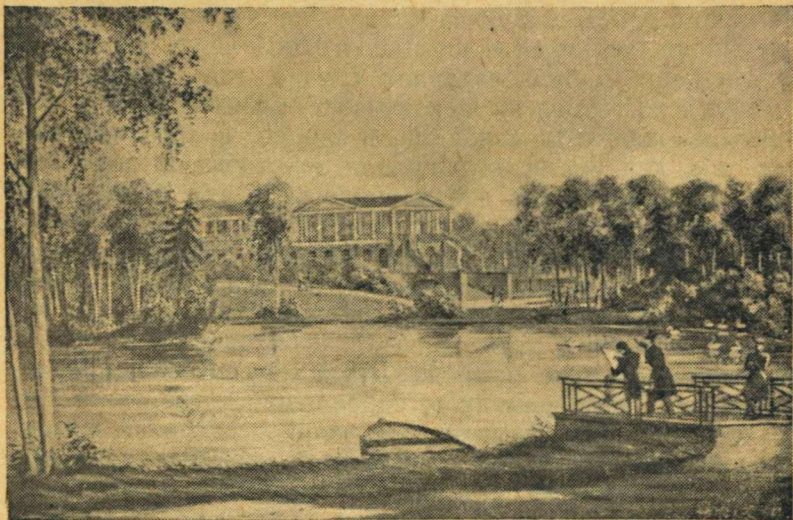
Таким образом, мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше

---

<sup>1</sup> Донесение.

<sup>2</sup> Профессор российской и латинской словесности.





Вид на галерею Камерона в Царском Селе.

*С литографии 1820 годов.*

или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь: тут образовались связи на всю жизнь.

Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны

его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое не попадало, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему не доставало того, что называется *тактом*, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудро, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отзывались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственной ей иногда пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой,  
Тряхнем рукою руку!  
Оставим в чаше круговой  
Педантам сродну скуку.  
Не в первый раз мы вместе пьем,  
*Нередко и бранимся,*  
Но чашу дружества нальем,  
*И тотчас помиримся*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Пирующие студенты». (И. П.)



Потом опять, в 1817 году, в альбоме, перед самым выпуском, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,  
Исписанный когда-то мною,  
На время улети в лицейский уголок  
Всесильной, сладостной мечтою.

Ты вспомни быстрые минуты первых дней,  
Неволю мирную, шесть лет соединенья,  
Печали, радости, мечты души твоей,  
*Размолвки дружества и сладость примиренья —*

Что было и не будет вновь...

И с тихими тоски слезами

Ты вспомни первую любовь.

Мой друг! она прошла... но с первыми друзьями

Не резвою мечтой союз твой заключен;

Пред грозным временем, пред грозными судьбами,

О милый, вечен он!

Лицейское наше шестилетие в историко-хронологическом отношении можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Ма-линовского, междущарствием (то есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этой длинной дорогой, она вас утомит. Не станем делать изысканий; все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны остаться достоянием нашим: нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, но мы и теперь молодеем, когда, собравшись, заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь, вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончив-

ши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 811 году, и никак не позже первых месяцев 12-го. Упоминаю об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об этом не упоминают.

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку.

Сегодня расскажу вам историю гогель-могеля, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина и на меня, как вы сами увидите.

Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас, были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности, один из них, именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, бегот-



ню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же началисьпросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты.

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось — дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее:

1) две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы;

2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению, и

3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчался по усмотрению начальства: нас по истечении некоторого времени постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже  
Сидит к каше ближе.

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером. Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где мы только и были записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы

еще иметь влияние и на будущность после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,  
Как в отрадной тишине  
Мы топили горе наше  
В чистом пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо  
В нашем тесном уголке,  
С Вакхом нежились лениво  
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье  
Вкруг бокалов пуншевых,  
Рюмок грозное молчанье,  
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о сколь прекрасно  
Токи дымные текли!  
Вдруг педанта глас ужасный  
Нам послышался вдали —

И бутылки вмиг разбиты,  
И бокалы все в окно,  
Всюду по полу разлиты  
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо;  
Вмиг исчез минутный страх!  
Щек румяных цвет игривой,  
Ум и сердце на устах,

Хохот чистого веселья,  
Неподвижный тусклый взор  
Изменяли час похмелья,  
Сладкий Вакха заговор.

О друзья мои сердечны!  
Вам клянуся, за столом  
Всякий год, в часы беспечны,  
Поминать его вином<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Из стихотворения «Воспоминания» с подзаголовком: «К Пушкину» (1815).



По случаю гогель-могеля Пушкин экспромтом сказал  
в подражание стихам И. И. Дмитриева:

Мы недавно от печали,  
Лиза, я да Купидон,  
По бокалу осушали  
И прогнали мудрость вон<sup>1</sup>  
*и проч.: —*

Мы недавно от печали,  
Пушин, Пушкин, я, барон,  
По бокалу осушали  
И Фому прогнали вон<sup>2</sup>.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамилии не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шума и огорчило наших родных благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло окончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не вздумали формальным образом донести министру.

Надобно сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы.

---

<sup>1</sup> Пушин ошибся: приведенный куплет принадлежит не Дмитриеву, а Денису Давыдову («Мудрость»).

<sup>2</sup> Остальных строф не помню; этому с лишком сорок лет. (И. П.)

Карцов спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: *нулю*. «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было: все делалось *à livre ouvert*<sup>1</sup>.

На публичном нашем экзамене Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его уж не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати.

Вчера мне Маша приказала  
В куплеты рифмы набросать  
И мне в награду обещала  
Спасибо в прозе написать

*и проч.*

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь

---

<sup>1</sup> Без приготовления.





Пушкин на лицейском экзамене в 1815 году декламирует перед Державиным свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе».

*С картины И. Репина.*

лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас имеют особый интерес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства.

К живописцу.

Дитя харит, воображенья!  
В порыве пламенной души  
Небрежной кистью наслажденья  
Мне друга сердца напиши

*и проч.*

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи —

выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих *Пирующих студентов*. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужный час настал,  
Все тихо, все в покое

*и проч.*

Внимание общее, тишина глубокая, по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

Писатель! За твои грехи  
Ты с виду всех трезвее:  
Вильгельм, прочти свои стихи,  
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именинник,

*и проч.*

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется в многих других стихах



Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии...

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко; тут смесь и дельного и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, на пруде, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытною дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыхания.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию.

Когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —  
Судьба его неумолима!  
Несите прочь медикамент:  
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

С лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: «В таком случае надо бы познакомиться их с фронтом». Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей<sup>1</sup>, если в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказаания поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императри-

---

<sup>1</sup> То есть разрешить Энгельгарду оставить Лицей.



це Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и препятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видел камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы. Между нами мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности; но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галлерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни.

Вот ее куплет:

«Bonjour, messieurs! Поттише.  
Поводьем не играй —  
Вот я тебя потешу!..  
A quand l'equitation?»<sup>1</sup>

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые

---

<sup>1</sup> А когда же верховая езда?

потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрядное памятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою, незнакомою далью. Кто не спешил в тогдашние наши годы соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно, даже при мысли о наступающей свободе, оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,  
Быть может, породила нас!<sup>1</sup>

Наполнились альбомы и стихами и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на 6-м листе этого рассказа<sup>2</sup>.

Дельвига:

Прочтя сии набросанные строки  
С небрежностью на памятном листке,  
Как не узнать поэта по руке?  
Как первые не вспомнить уроки  
И не сказать при дружеском столе:  
«Друзья, у нас есть друг и в Хороле!»

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

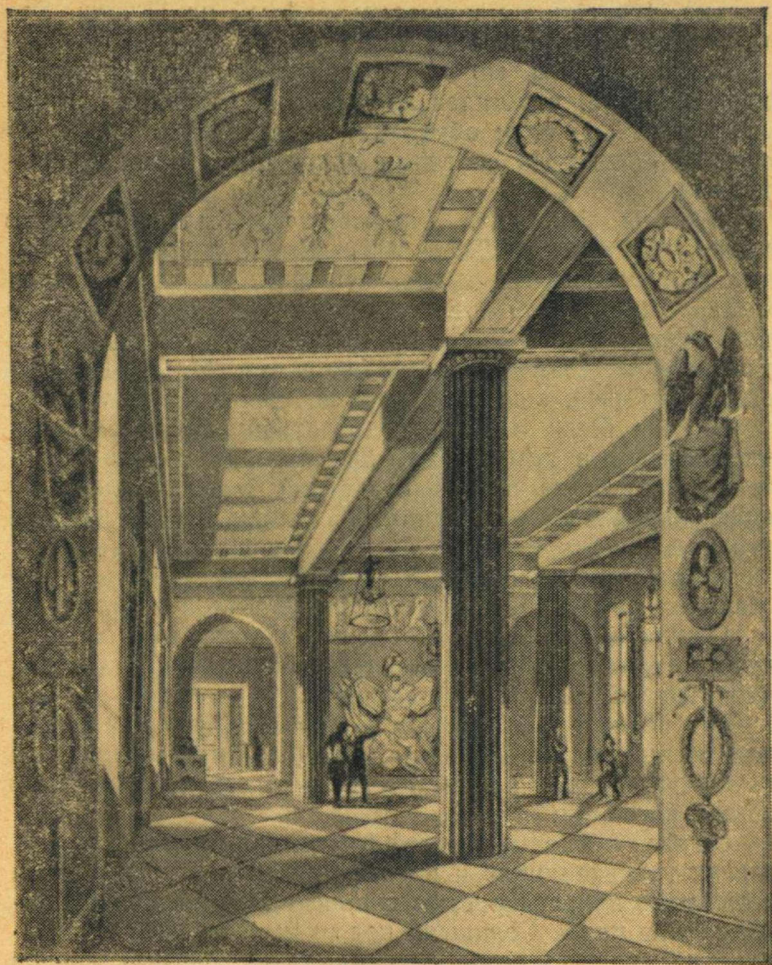
Илличевского стихов не могу припомнить: знаю

---

<sup>1</sup> «Прощальная песнь» Дельвига. (И. П.)

<sup>2</sup> См. стр. 29.





Лицейский зал.

Рисунок П. Бореля.

только, что они все кончались рифмой на Пущин. Это было очень оригинально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями.

9 июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромн. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына. Государь не взял даже с собою князя П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел короткий отчет за весь шестилетний курс; после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чинов и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь — слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился с нами с обычною приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего, — возразил он, — я сегодня не



в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики — пахло отъездом! При выходе из Лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали разъезжаться; прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уж не застал его, когда приехал в Петербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября. Между тем как товарищи наши, поступившие на гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили моею судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артили, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Калошин и Семенов<sup>1</sup>. С Калошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у

---

<sup>1</sup> Все перечисленные здесь члены кружка впоследствии вошли в тайное общество декабристов.

нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собой, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (*res publica*), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкового нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали



необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то что всегда был окружен многими разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдавая чаще обыкновенного, он затруднял меня вопросами и расспросами, от которых я, как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов. Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не вострепнулся его маленький Шарло<sup>1</sup> и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, бол-

---

<sup>1</sup> Собачка.

товня эта — вздор, но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия» и пр. Он терпеливо выслушает, начнет щеко-тать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь — Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!) Странное смещение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катонном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готовности к разгулу с ним хотелось, чтобы он не переступал некоторых гра-



ниц и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набросить на него некоторого рода тень.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева<sup>1</sup>, где тогда собрались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между прочими были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай; право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На-днях был у меня Николай Тургенев; разговаривались мы с ним о необходимости и пользе издания

---

<sup>1</sup> Один из основателей «Союза Благоденствия».

в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Stael: «*Considérations sur la Révolution française*»<sup>1</sup>, и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него, — вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решился броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия.

В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

«Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en

---

<sup>1</sup> Госпожа Сталь. «Взгляд на французскую революцию».





И. И. Пушкин.

*С акварели Д. Соболевского. 1825.*

quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils<sup>1</sup>. Видно, вы не знаете последнюю его проказу».

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе уgomониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном пред целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге.

---

<sup>1</sup> Мне остается только разорваться на части для восстановления репутации моего сына.



большей частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что этот поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.) Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило. В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не

найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободою откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque!»<sup>1</sup> и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем и не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт, — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его».

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии

---

<sup>1</sup> Ах, это по-рыцарски!



иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний Южного края. Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежутке этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринослава в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судью уголовного департамента московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе тех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья.

«Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве.

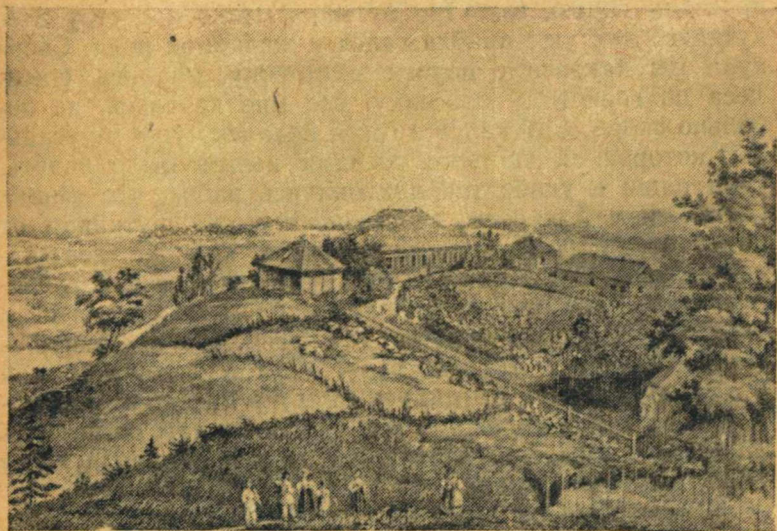
В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот

был поручен Пешурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это несколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, несколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него? «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». — «Не советовал бы; впрочем, делайте, как знаете», прибавил Тургенев.





Село Михайловское.

*С литографии Г. Александрова. 1837.*

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове,

проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось, не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извиристою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндеветавшей шубе и шапке. Было около 8-ми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совесть стало перед этою женщиной; впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня,



столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пальцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлён. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однакож, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась,

в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменялся, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в *Северных цветах* и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым<sup>1</sup>.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова *из ревности*; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии. Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои вопросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. Среди разговора *ex abrupto*<sup>2</sup> он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец,

---

<sup>1</sup> Речь идет о портрете А. С. Пушкина работы О. Кипренского.

<sup>2</sup> Внезапно.





А. С. Пушкин.

*С портрета О. Кипренского. 1827.*

что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалили своих соседей в Тригорском, хотел даже возвести меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судью. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19-го октября 1825 года», где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое суждение:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,  
В обители пустынных выюг и хлада,  
Мне сладкая готовилась отрада...

. . . . . Поэта дом опальный,  
О Пущин мой, ты первый посетил;  
Ты уладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его Лицея превратил...

Ты, освятив тобой избранный сан,  
Ему в очах общественного мненья  
Завоевал почтение граждан.



Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости<sup>1</sup> и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няняпреважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось: кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

---

<sup>1</sup> В Бессарабии. Майор В. Ф. Раевский был арестован в 1822 году.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью появились в печати.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею<sup>1</sup>. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолукского, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел *faire bonne mine à mauvais jeu*<sup>2</sup> и старался уверить его в противном: объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне

---

<sup>1</sup> Сборник житий святых.

<sup>2</sup> Делать веселое лицо при плохой игре.





Пушкин у Пушкина.

*С картины Н. Ге.*

неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью

в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для *Полярной Звезды* и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы — хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл. Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, — подумал я, — хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был бильярд; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономить дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусь; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в



Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадno промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мною...

Сцена переменялась.

Я осужден: 1828 года, 5-го января, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный:  
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.  
Молю святое Провиденье:  
Да голос мой душе твоей  
Дарует то же утешенье,  
Да озарит он заточенье  
Лучом лицейских ясных дней!

*Псков, 13-го декабря 1826 г.*

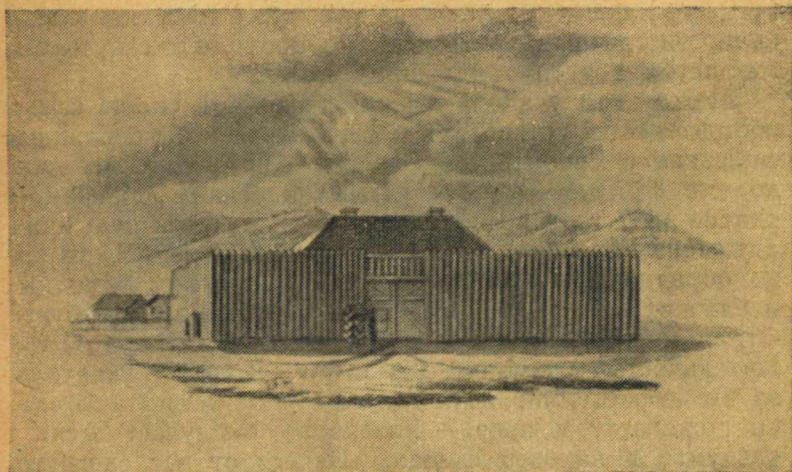
Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось. Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого пред самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом. По приезде моем в Тобольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842 брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постоянным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19-го октября 1827 года»:

Бог помощь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помощь вам, друзья мои,  
И в счастье и в житейском горе,  
В стране чужой, в пустынном море  
И в темных пропастях земли!





Читинский острог.

*С рисунка Н. Бестужева.*

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастье.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — там, на нашем Западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли, как повер-

стные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас с течением времени, силою самых обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни *газетные* известия. Таким образом, в январе 1837 года возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер. Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и проч. — Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере; но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его! Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть перед его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние





После дуэли.

*С картины А. Наумова.*

месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня — далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов.

Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?»

Вопрос дерзкий, но мне, может быть, простительный! — Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, повидому, ничтожные обстоятельства приняли в глазах моих вид явного действия Промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано. Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо него, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решетки, а о жизни людей разве только слышать. Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.



Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем-Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь)<sup>1</sup>. У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить ее за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом, со вздохом, проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушина, ни Малиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20 лет!..

Им кончаю и рассказ мой.

*Село Марьино, август 1858. (И. П.)*

---

<sup>1</sup> Даль Вл. Ив. (1801—1872) — писатель, составитель «Толкового словаря»; по образованию врач.

---

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Для среднего и старшего  
возраста

\*

Ответств. редактор И. Воробьева.  
Художеств. редактор В. Пахомов.  
Технич. редакторы М. Голубева  
и Р. Кравцова.  
Корректоры Ю. Носова и  
Е. Вильтер.

\*

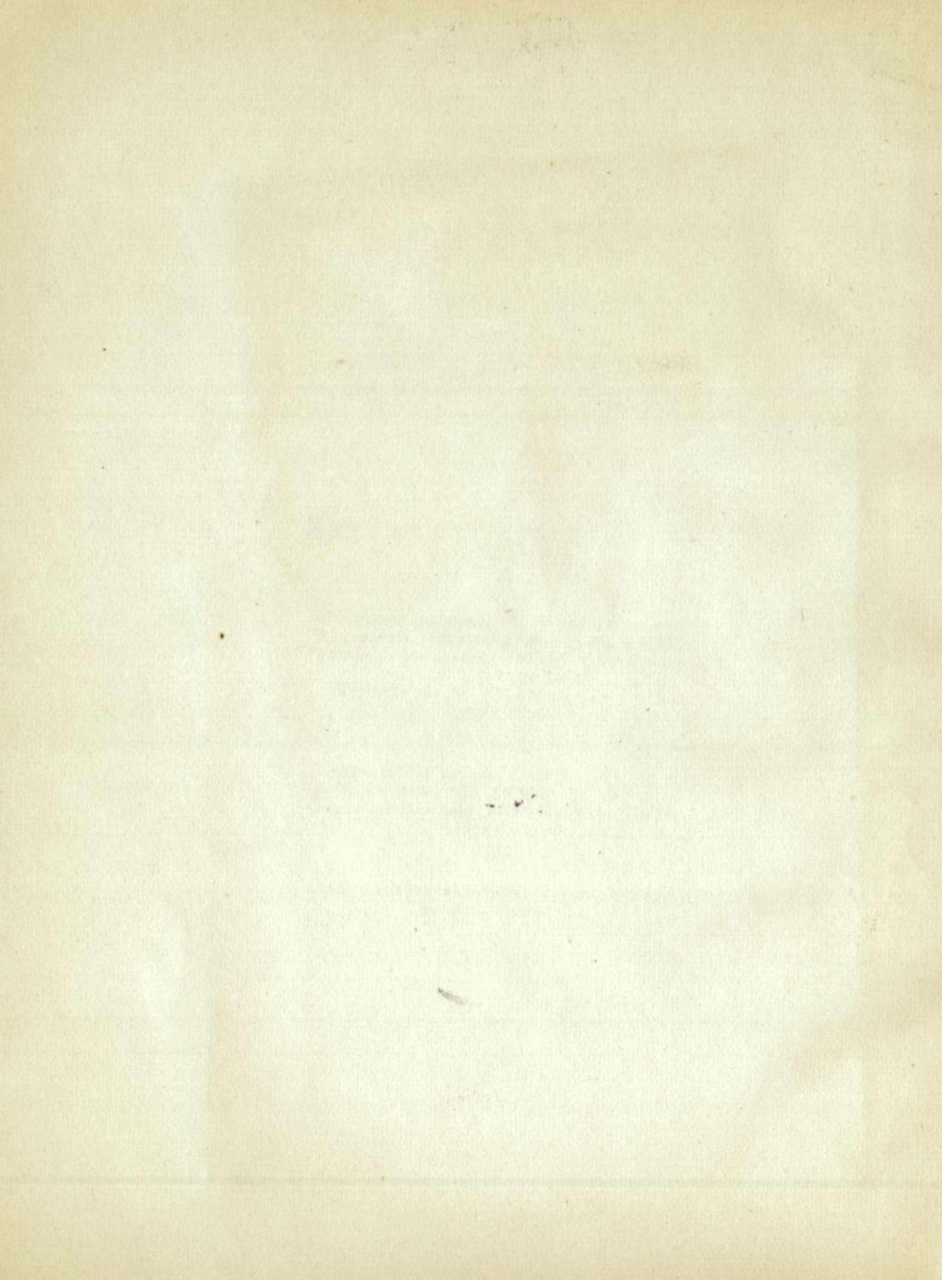
Подписано к печ. 8/III 1947 г. 2¼ п. л.  
(3,03 уч.-изд. л.). 55 500 экз. в п. л.  
Тираж 50 000 экз. А03325. Заказ № 53.  
Цена 2 руб.

\*

Фабрика детской книги Детгиза. Москва.  
Сушевский вал, 49.









Проз. 1969

10577

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ  
ДЕТГИЗ

Цена 2 руб.